

ИМЯ СПЯЩЕГО



Sandmel A.

18+

Sandmel A

Имя спящего

<https://litres.ru/74192022>

SelfPub; 2026

Аннотация

Озеро Неро дышит по ночам — и однажды оно зовёт. В ночь, когда рождается Ждан, вода шумит без ветра, а в чёрных глазах младенца горит чужой огонь. Старая ведунья знает то, о чём молчит вся деревня: мальчик — живая печать, а его истинное имя удерживает запёртым на дне нечто древнее людей и богов. Назвать это имя вслух — значит отпереть дверь, за которой ждёт конец всему живому. Ждан растёт чужаком. Он видит изнанку мира, говорит с мёртвыми и год за годом борется с собственным желанием узнать, кто он на самом деле. А по его душу уже идёт тот, кто умеет доставать имена из таких, как он. Он не станет убивать держальце — он сделает хуже. Он назовёт его. Тёмное славянское фэнтези о цене знания и о том, что иногда спасти мир — значит чего-то не узнать. Первая книга цикла «Имя спящего».

Sandmel A

Имя спящего

Глава 1

Огонь на Велесову ночь

На Велесову ночь не зови по имени — придёт не тот, кого ждёшь.

Озеро шумело без ветра.

Несвета слышала этот шум всю свою долгую жизнь и знала его наизусть — как знают дыхание спящего рядом мужа, как знают скрип своей половицы в темноте. Озеро Неро дышало по ночам, перекачивало под чёрной кожей воды что-то тяжёлое, ворочалось, как зверь во сне. К этому привыкали. Над этим строили избы, ставили сети, крестили детей.

Но сегодня вода шумела не так.

Сегодня она звала.

Старуха стояла на пороге Лукерьиной избы, прижавшись плечом к косяку, и смотрела, как за озером, низко над камышом, разгорается красное. Не заря — до зари ещё полночи. И не пожар — пожар стелется дымом, а тут дыма не было, только ровный, недобрый свет, будто кто-то развёл костёр на самой воде и грел над ним ладони.

— Велесова ночь, — сказала Несвета тихо, для себя. — Самая темь. Угораздило тебя, девка.

В избе за её спиной кричала Лукерья.

Кричала уже третий час, и крик этот из бабьего, надсадного давно сделался другим — низким, звериным, таким, что у мужиков во дворе примолкали разговоры и каждый невольно косился на дверь. Роды шли тяжело. Дитя не хотело в этот мир — упиралось, цеплялось, тянуло мать за собой обратно, во тьму, откуда пришло. Несвета принимала на своём веку больше сотни младенцев и хоронила едва ли не столько же, и нутром, тем самым нутром ведуньи, что не обманывало её ни разу, знала: это будет из тех родов, которые потом поминуют шёпотом.

Она вернулась в избу.

Жарко, душно, смрадно от крови и пота, в углу под образами — тусклый огонёк лучины, и в этом дрожащем свете лицо роженицы белое, как снятое молоко, с тёмными провалами глазниц. Бабы-помощницы жались по стенам. Старшая, Аксинья, держала Лукерье голову и плакала, не утирая слёз.

— Несветушка, — выдохнула она, — отходит. Не сдюжит.
— Сдюжит, — отрезала старуха.

Она засучила рукава, размотала с шеи ремешок, на котором висел камень — белый, в серых прожилках, гладкий, как речная галька, только тёплый всегда, в любой мороз тёплый. Алатырь. Несвета носила его сорок лет, с того дня, как её собственная бабка, умирая, вложила камень ей в ладонь и сомкнула пальцы. *Держи. Покуда держишь — держится мир.* Тогда Несвета не поняла. Теперь — боялась, что начи-

нает понимать.

Она сунула камень Лукерье в кулак.

— Держи. Зубами держи, не выпускай. Слышишь меня? Что бы ни услышала — за него держись, не за голос.

— Какой... голос... — прохрипела роженица.

Несвета не ответила.

Потому что голос уже был.

Он шёл от озера — сквозь стены, сквозь крик, сквозь треск лучины, — и был так тих, что его нельзя было услышать ухом, а слышалось чем-то другим, под рёбрами, в самой кости. Голос не говорил слов. Он звал — без имени, без зова, просто тянул, как тянет омут, как тянет высота, когда стоишь на краю и что-то внутри шепчет: шагни.

Бабы у стен ничего не слышали. Несвета видела это по их лицам — пустым, перепуганным, но обыкновенно перепуганным, человечьи. Они боялись смерти. А Несвета боялась того, что было хуже смерти и стояло сейчас совсем близко, по ту сторону тонкой, как ледок, воды.

— Тужься, — сказала она. — Ну!

Лукерья выгнулась. Закричала так, что лучина мотнулась и едва не погасла. И в этот самый миг — Несвета после клялась бы в том на любом образе — там, за озером, красный огонь на воде вспыхнул ярче, поднялся столбом и опал, разом, как задутая свеча.

И стало темно.

И в темноте — закричал ребёнок.

Несвета приняла его в руки, скользкого, горячего, живого, и первое, что сделала, — глянула не на то, на что глядят повитухи. Не пол, не пальчики, не пуповину. Она глянула мальчику в глаза.

Новорождённые не видят. Это знает всякая баба. Первые дни дитя слепо, мир для него — мутное молочное пятно. Но этот смотрел. Смотрел прямо на старуху, осмысленно, тяжело, чёрными, без донца глазами — и в глубине этих глаз, на самом дне, Несвета увидела отражение того красного огня, что давно уже погас над озером.

Огонь горел в нём.

Старуха не вскрикнула. За сорок лет она разучилась вскрикивать. Она только крепче прижала младенца к груди, спиной заслонив его от баб, от лучины, от образов в углу, — и одними губами, беззвучно, чтобы не услышало ни одно ухо, ни человечесьё, ни иное, сказала ему первое в его жизни слово:

— Молчи.

Озеро за стеной утихло. Дышало ровно, сыто, как зверь, который понял, что добычу пока не дадут, и улёгся ждать.

Ждать оно умело. Спешить ему было некуда.

Лукерья на лавке тихо плакала и смеялась, тянула руки к сыну, а Аксинья разжала ей второй кулак — тот, в котором был зажат камень, — и ахнула: на белом Алатыре, поперёк серых прожилок, проступила новая, тонкая, как волос, чёрная трещина.

Несвета увидела. И ничего не сказала.

Только подумала: *началось*.

А ребёнка в ту же ночь, как водится, нарекли — наспех, чтоб до света был с именем, не то унесут безымянного. Назвали просто, как называли в той деревне долгожданных, выпрошенных у бога детей.

Ждан.

Доброе имя. Тихое.

Несвета, качая его на руках, знала, что оно — не настоящее.

Настоящее лежало на дне озера и ждало, когда мальчик подрастёт и сам спросит, как его зовут.

Глава 2

Знак на пороге

Здоровается беда с порога — а уходит через крышу.

Метку нашли на третье утро.

Её увидела не Несвета — увидел Прокл, Лукерьин муж, когда вышел до свету задать корове и едва не наступил на неё босой ногой. Он стоял на крыльце, держась за притолоку, и смотрел вниз, на доску порога, и долго не мог понять, что у него отнялись слова.

На пороге был выжжен знак.

Не вырезан ножом, не намалёван углём — выжжен. Дерево по краям линий обуглилось и спеклось, будто кто-то водил по доске не рукой, а раскалённым прутом, медленно, с толком. Знак был простой и оттого ещё хуже: круг, а в кру-

ге — черта поперёк, и от черты вниз две косые, как корни. Прокл такого отродясь не видел и видеть не хотел. Но нутром, той же самой мужицкой жилой, что чует к ночи дождь, понимал — знак этот не людской и стоит здесь не зря.

Он позвал соседей. К полудню у избы стояла половина деревни.

Деревня звалась Заречье — десятка три дворов, прижатых к озеру с северной стороны, где камыш по осени стоит выше человека и шуршит на ветру, как будто перешёптывается. Жили рыбой, жили льном, жили тем, что выменивали в Ростове, до которого было полдня по тракту. Жили, как все, — крестясь на образа в красном углу и кладя на ночь под порог железо от нечисти. Железо не помогло.

— Это он принёс, — сказал Гаврила, кузнец, и сказал негромко, но так, что слышали все. — Дитё. В дурную ночь рождённое, с дурным знаком на дворе. Велес метит своё.

Бабы зашептались. Кто-то перекрестился. Молодуха с краю заплакала — без причины, просто от страха, который к тому утру висел над Заречьем, как туман над водой.

— Утопить, — сказал кто-то сзади. Тихо. Но это слово, раз сказанное, уже не убрать. Оно повисло.

— Утопить, — повторил Гаврила, будто пробуя на язык. — Вернуть, откуда взяли. Озеру отдать его озёрное. Тогда и отстанет.

Прокл молчал. Он был отцом и должен был кинуться на кузнеца с кулаками — а стоял, опустив руки, и смотрел на

выжженный круг, и в нём отцовское боролось со страхом, и страх побеждал. Лукерья за стеной не слышала ничего; она лежала в горячке третьи сутки и звала сына, а сына к ней не несли.

Несвета пришла, когда уже принесли верёвку.

Она шла от своей избы на отшибе, медленно, опираясь на палку, и толпа расступалась перед ней сама, без слов, как расступается вода перед носом лодки. Старуху в Заречье не любили и боялись — а это в деревне почти то же самое, что уважают. Она остановилась у крыльца, поглядела на знак, поглядела на верёвку в руках у кузнеца, и лицо её не дрогнуло.

— Кто резал? — спросила она.

— Никто, — буркнул Гаврила. — Само. Ночью.

— Само, — кивнула Несвета. — А ты, стало быть, помочь решил. Само не доделало — Гаврила дорежет.

Кузнец насупился. Был он мужик здоровый, в плечах что твоя печь, и старуху мог переломить одной рукой, — а под её взглядом отвёл глаза, как мальчишка.

— Ты ворожея, Несвета, — сказал он. — Тебе виднее. Вот и скажи: что это? И что делать?

Старуха помолчала. Она знала, что это. Она узнала круг с чертой, едва Прокл его описал, — узнала, потому что видела такой однажды, давным-давно, на камне у самой воды, в ту ночь, которую старалась не вспоминать сорок лет. Это была не Велесова метка. Велес своих не метит огнём. Огнём метит

тот, кто под Велесом, глубже, на самом дне, — тот, у кого имени нет, а кого зовут разное, и всякое имя — ложь.

Но сказать это Заречью было нельзя. Скажешь — и завтра пол-деревни кинется бежать, а вторая половина с перепугу и впрямь утопит ребёнка, и тогда печать снимется, и всё, чего она сорок лет ждала и боялась, придёт разом.

Поэтому Несвета солгала. Спокойно, привычно, как лгут детям про то, что мёртвая собака «убежала».

— Это знак испытания, — сказала она громко, чтобы слышали все. — Доля у двора такая выпала. Дитя помечено — стало быть, дитя нужное. Тронете его — беду на всё Заречье накличете, какой и не видели. А сбережёте — отведёте.

— Складно говоришь, — прищурился Гаврила. — А коли врёшь?

— А коли вру, — Несвета подняла на него глаза, и кузнец увидел в них то, отчего разом стало холодно, хотя стоял тёплый осенний полдень, — то ты, Гаврилушка, первый и проверишь. Возьми верёвку. Пойди к озеру. Кинь дитё в воду. А после ляг и жди, что из воды выйдет за тобой следом. Долго ждать не придётся.

Никто не засмеялся. Никто не сказал ни слова.

Кузнец постоял ещё, держа верёвку, потом бросил её под ноги, плюнул и пошёл прочь. За ним потянулись другие — поодиночке, отводя глаза, будто застали себя за чем-то стыдным. Через малое время у избы остались только Несвета, Прокл да выжженный круг на пороге.

— Заберу его, — сказала старуха. — К себе. Здесь ему не жить — заключают.

Прокл вскинулся было — а потом обмяк. Он был не злой человек, просто слабый, и в эту минуту ему предлагали снять с плеч то, что он не мог поднять.

— Лукерья как же, — выговорил он. — Мать ведь.

— Лукерья встанет — будет ходить ко мне, кормить. А жить дитё будет у меня. Так всем легче, Прокл. И тебе. И ему. — Несвета шагнула к порогу, провела ладонью над выжженным знаком, не касаясь. — И озеру.

Она забрала младенца в тот же день, увязав в дерюгу, прижав к худой груди. Шла обратно через всё Заречье, и из-за плетней на неё смотрели — молча, недобро. Старуха не оглядывалась. Только у самой околицы, где тропа сворачивала к её избе на отшибе, она остановилась и подняла ребёнка повыше, к свету.

Ждан спал. Личико было спокойное, обыкновенное, как у всякого спящего дитяти. И только когда из-за облака вышло солнце и легло ему на лицо, Несвета снова увидела то, что под закрытыми веками: тень того красного огня, что не гас. Он был там. Он ждал.

— Ну, здравствуй, — сказала старуха тихо. — Будем теперь жить вдвоём, ты да я. Я тебя кормить буду, а ты меня — слушать. И первое, чему я тебя выучу, родимый, — это молчать. Молчать и не спрашивать. Авось вытянем.

Дома она положила ребёнка в старую люльку, в которой

давно никто не качался, и пошла к укладке в углу. Достала со дна, из-под трав и тряпья, маленький холщовый мешочек. В мешочке был камень — белый Алатырь с новой чёрной трещиной.

Несвета поднесла его к свету и долго смотрела на трещину. Та за три дня не затянулась. И — она могла бы поклясться — стала чуть длиннее.

Старуха завязала мешочек и спрятала обратно. Села у люльки. И сидела так до самой темноты, не зажигая лучины, а за стеной, далеко, чуть слышно, дышало озеро — ровно, терпеливо, как тот, кто умеет ждать.

Глава 3

Ересь бабки Несветы

У старой веры корни глубоки — топором рубишь, а она из-под земли в другом месте.

Отец Прокопий пришёл к Несвете на исходе второй зимы.

Пришёл не один — с дьячком, что нёс за ним кадило и кропило, и с двумя мужиками для острастки, хотя на старуху какая острастка. Снег лежал по пояс, тропа к избе на отшибе была протоптана узкая, в один след, и поп шёл по ней грузно, проваливаясь, придерживая рясу, и злился ещё на подходе. Злость эта была давняя. В Ростове, в больших каменных церквах, давно служили по новому чину, звонили в колокола на всю округу, и митрополит сидел в палатах, как князь. А здесь, в Заречье, у самой воды, по-прежнему клали под порог железо, по-прежнему на Купалу жгли костры,

и по-прежнему, чуть что — родит ли баба тяжело, падёт ли скотина, — шли не к нему, к попу, а к ней, к ворожее.

Это была ересь. И ересь эта имела имя — Несвета.

— Молитвами святых отец наших, — буркнул Прокопий вместо «здравствуй», переступая порог и сразу пригибаясь под низкой притолокой. В избе было тепло, пахло травами, сушёными грибами и ещё чем-то — горьким, незнакомым, отчего попу захотелось перекреститься, и он перекрестился.

В углу, у печи, на овчине сидел мальчик.

Ему шёл третий год. Был он не по годам тих — не возился, не лез, не плакал при чужих, как все дети, а сидел и смотрел. Смотрел на попа теми же чёрными, без донца, глазами, что Несвета увидела в первую ночь, — и отцу Прокопию, человеку немолодому и в страхах твёрдому, отчего-то стало под этим взглядом неуютно. Будто не дитя на него глядело, а кто-то взрослый и очень старый, кто сел в это дитя, как садятся в чужую лодку.

— Вот, значит, он, — сказал поп, отводя глаза. — Прокла Лукерьян выблядок, что ты к себе взяла.

— Сын Прокла и Лукерьи, — поправила Несвета ровно. — Венчанных тобою же. Садись, отче. С морозу. Травника налью.

— Не надо мне твоего травника. — Прокопий остался стоять. — Я по делу, старая. По божьему. Люди говорят, ты дитя не крестишь.

— Крещён он. На сороковой день. При всех.

— Крещён, — поп прищурился. — А ладанку с него снимаешь и вешаешь свою, костяную. А по ночам, бают, водишь его к воде. А имени настоящего у него будто и нет — кличешь Жданом, а не Жданом он у тебя записан, и не Жданом ты его в избе зовёшь.

Несвета не ответила сразу. Она помешала в горшке, отставила его на край печи, вытерла руки о передник. Всё это — медленно, спокойно, как делают, когда нужно выгадать время на ложь.

А лгать было о чём. Потому что поп, сам того не зная, ткнул пальцем в самое больное. Имени мальчик и впрямь не имел — настоящего. Ждан было прозвище, оберег, пустышка, чтобы заткнуть им дыру, пока не подрос. А по ночам она и впрямь водила его к воде — но не молиться Велесу, как думали в Заречье. Она водила его смотреть на трещину. Раз в год, на ту самую ночь, на берегу под старой ивой лежал плоский камень, и на камне год от года расходился чёрный шрам, и Несвета держала над ним ребёнка и шептала старые слова, которых не понимала до конца сама, — слова, что не давали шраму расти быстрее. Это была не вера. Это была работа. Грязная, тяжёлая, наследная работа хранителя, которую ей передали умирая, как передают долг.

Но попу этого знать было нельзя. Никому нельзя.

— Стара я стала, отче, — сказала Несвета наконец, и голос у неё сделался дребезжащий, бабий, жалкий — она умела и так. — Память дырявая. Зову как зовётся. А к воде хожу

полоскать, куда ж мне ещё. Прорубь у меня там.

— Не ври мне, ведьма, — тихо сказал Прокопий. И вдруг шагнул к мальчику, нагнулся, протянул толстую руку — то ли благословить, то ли схватить, он и сам не знал. — Дай-ка я его перекрещу при себе. Поглядим, как примет.

Дальше случилось то, о чём отец Прокопий не рассказывал после никому, даже на исповеди, — а исповедоваться ему было кому.

Едва его ладонь, сложенная для креста, легла мальчику на лоб, ребёнок поднял глаза. И поп — большой, потный, пахнувший ладаном и луком, твёрдый в вере человек — отшатнулся так, будто схватился за раскалённую сковороду. Он отдёргнул руку, прижал её к груди, побелел. Что он там увидел или услышал, в этих чёрных глазах, в эту короткую секунду, — он не сказал. Но крестить больше не полез.

— Бес в нём, — выговорил Прокопий хрипло, пятась к двери. — Бес, старая. Ты беса в избе держишь и греешь.

— Дитя в избе держу, — сказала Несвета и встала между попом и люлькой. — Замёрзшее, никому не нужное дитя. А что тебе примерещилось, отче, так то от мороза да от поста. Иди с богом. И — отче. — Она понизила голос, и теперь в нём не было ни дребезжания, ни жалости. — Не приходи больше. Тебе же лучше. Есть вещи, отче, которые крестом не возьмёшь, а только разбередишь. Эта — из таких. Уйди и забудь. И людям скажи — пусть забудут. Иначе беда придёт не на меня и не на дитя. На всех придёт. На Заречье. На Ро-

стов твой каменный. На колокола.

Поп ушёл. Брёл по узкой тропе обратно, проваливаясь в снег, и не оборачивался, и впервые за много лет ему было по-настоящему страшно — не как бояться греха или начальства, а как бояться в детстве темноты за печкой.

В Ростове он не стал доносить ни митрополиту, ни кому. Сказал только дьячку: «Не наше это. Пусть старуха сама с ним мается». И до самой своей смерти, что приключилась тремя годами позже, отец Прокопий обходил северную сторону озера стороной и на Заречье крестился, как на нечистое место.

А Несвета, когда стих скрип снега под поповскими валенками, опустилась на лавку рядом с мальчиком и долго молчала. Потом сказала — не ему, себе:

— Видел он тебя. Сквозь меня видел. — Она взяла его руку, маленькую, тёплую, в свою, сухую. — Слушай меня, родимый. Будут к тебе тянуться. Кто крестом, кто верёвкой, кто добрым словом. Всем будет от тебя что-то нужно — самим невдомёк что. А тебе нельзя. Тебе можно одно — быть тихим. Тише воды. Пока я жива, я тебя укрою. А помру — сам должен будешь. Сам.

Мальчик смотрел на неё и молчал. Он молчал почти всегда — выучился этому первым из всех слов, как она и хотела. Только пальцы его сжали её ладонь чуть крепче, будто понял.

Понять он, конечно, не мог. Ему шёл третий год.

Но Несвета, укладывая его в ту ночь, поймала себя на мысли, от которой ей сделалось холодно: а вдруг — мог. Вдруг тот, кто сидел в этом дитяти, как в чужой лодке, понимал каждое её слово. И запоминал.

И ждал, когда лодка вырастет настолько, чтобы можно было взяться за вёсла.

Глава 4

Раздорожье

На раздорожье не стой долго — приметят. Там всякому встречному дорога, и тому, у кого ног нет.

К восьми годам Ждан выучился быть пустым местом.

Это была наука потруднее грамоты. Несвета натаскивала его на неё, как натаскивают собаку, — терпеливо, годами, без жалости. Не смотри в глаза. Не отвечай первым. Не показывай, что слышишь то, чего не слышат другие. Если у воды кто позовёт по имени — не оборачивайся, хоть голос будь матушкин, хоть отцов. У тебя нет имени, родимый. Запомни накрепко: нет у тебя имени, и потому никакой зов — не твой.

Он запомнил. Он вообще всё запоминал — Несвета давно поняла, что память у мальчишки нечеловечья, цепкая, как репей. Скажи раз — будет помнить через год слово в слово. Это и пугало её, и было её единственной надеждой: такого, может, и выйдет выучить осторожности прежде, чем он сам себя погубит.

В Заречье его сторонились. Не били — боялись бить, помнили выжженный знак и поповский страх, — а сторонились,

что для ребёнка едва ли не хуже. Бабкин выкормыш. Озёрный. Тот, кого Велес пометил. Мальчишки, играя в лапту на выгоне, замолкали, когда он проходил мимо, и провожали глазами, и сплёвывали через плечо. Девки крестились. Только дурачок Филя, пастуший сын, не боялся Ждана — но Филя и грозы не боялся, и собак, и попа, потому что бояться ему было нечем.

— Ты чего всё один да один, — спросил его как-то Филя, сидя на меже и болтая босыми ногами. — Айда с нами. Мы вон жабу нашли с двумя головами.

— Несвета не велит, — сказал Ждан.

— А ты не слушай. Я вот мамку не слушаю.

— Тебя мамка любит, — сказал Ждан спокойно, без обиды, как говорят о погоде. — А меня Несвета бережёт. Это другое.

Филя подумал, поковырял в носу и согласился, что да, другое, хотя разницы не понял.

В тот день Несвета послала его за травой — за приозёрной осокой, что брали по осени для какого-то её снадобья. Послала с наказом строгим: бери у мостков, где люди, дальше не ходи, и до темна — домой. Ждан кивнул, как всегда, и, как всегда, послушался бы — если б не туман.

Туман в тот год лёг рано и стоял странно. Не низко, по воде, как водится, а полосами, будто кто протянул через всё озеро седые холсты и развесил сушиться. Между полосами было ясно, а войдёшь в полосу — и нет ни берега, ни неба,

только белое да тихий, под самым ухом, плеск. Ждан резал осоку у мостков, как велено, и не заметил, как одна такая полоса наползла на него с воды, мягко, без ветра, и накрыла.

И в тумане кто-то стоял.

Он стоял там, где стоять было нельзя, — над водой, шагах в десяти от берега, где Ждан по прошлому лету сам мерил: с головкой. Стоял по щиколотку, как по твёрдому. Женщина. Молодая, в мокрой рубаше, облепившей тело, с распущенными волосами, и волосы эти, тёмные, текли с неё, как водоросли, и капало с подола, и каждая капля падала в озеро без звука.

Ждан замер. Сердце у него не зашло — Несвета и от этого отучила, страх он держал глубоко, под спудом. Но всё в нём натянулось струной.

Не оборачивайся, если позовут по имени. А если не по имени?

— Мальчик, — сказала женщина. Голос был мокрый, булькающий, будто говорила она сквозь воду, и оттого ласка в нём звучала хуже угрозы. — Иди сюда, мальчик. Холодно мне. Согрей.

Ждан не двинулся. Он смотрел на неё — нельзя в глаза, говорила Несвета, и он смотрел чуть мимо, на мокрый ворот, — и видел то, что было под рубашой и под кожей: не бабу видел. Под лицом, красивым и молодым, проступало другое — раздутое, синее, с провалами вместо глаз, давнее. Утопленница. Из тех, кого вода держит и не пускает, и кто оттого

ходит по краю и зовёт живых — не со зла даже, а от одиночества, которое страшнее зла.

— Ты не живая, — сказал Ждан. Сказал тихо и ровно, как говорил всё. — Тебе нельзя меня звать. Иди обратно.

Женщина перестала улыбаться.

Что-то в тумане сдвинулось — будто само белое марево качнулось к нему. Вода у её ног пошла кругами, хотя стояла она неподвижно. И голос её, теряя ласку, пополз вверх, к визгу:

— А ты-то сам — живой ли? — Она склонила голову набок, неестественно, слишком набок, как не склоняют живые шеи. — Я тебя знаю. Я тебя помню. Ты у нас был. Ты наш. Как звать-то тебя, наш мальчик? Назовись. Назовись, и я уйду. Назови мне имечко, своё, тайное, — я ж вижу, есть оно у тебя, светится. Шепни. Одной мне. Никто не услышит.

И вот тут Ждану впервые в жизни захотелось.

Не пойти к ней — к ней не хотелось. А сказать. Назвать себя. Потому что она была права — он чувствовал это имя, оно и впрямь будто светилось где-то под рёбрами, тёплое, своё, единственно настоящее среди всех пустых прозвищ, и так хотелось хоть раз достать его на свет, произнести, услышать, как оно звучит, — что мальчик уже открыл рот.

И — закрыл.

Потому что вспомнил сухую руку Несветы в своей и её голос: нет у тебя имени, родимый. Кто скажет, что есть, — тому в рот песка, а сам молчи.

— Нет у меня имени, — сказал Ждан утопленнице. Громко. Твёрдо. И сам поверил, пока говорил. — Нет и не было. Не у кого тебе спросить. Иди обратно в воду.

Туман дрогнул. Полоса седого холста поползла прочь так же мягко, как пришла, и вместе с ней истаяла и женщина — не ушла под воду, не отступила, а просто перестала быть, как перестаёт быть отражение, когда отводишь свечу. Берег вернулся. Небо вернулось. У ног плескалась обыкновенная серая вода, и в осоке стрекотало, и где-то далеко мычала Филина корова.

Ждан стоял, сжимая срезанную осоку, и руки у него были в крови — изрезал ладони об острые края, не заметив. Он посмотрел на кровь спокойно. Потом собрал траву, обтёр руки о рубаху и пошёл домой, не оглядываясь, как учили.

Несвета встретила его на пороге. Глянула — и всё поняла без слов, по лицу, по рукам, по тому, как пахло от него тиной и холодом.

— Звала, — сказала она. Не спросила — сказала.

— Звала, — кивнул Ждан. — Имя просила. Я не дал.

Старуха долго смотрела на него. Потом сделала то, чего не делала почти никогда, — притянула к себе и обняла, крепко, костлявыми руками, прижала голову к груди, и он слышал, как часто и неровно бьётся под рёбрами её старое сердце.

— Не дал, — повторила она глухо, ему в макушку. — Умница. Господи, умница ты мой.

А про себя подумала другое — то, от чего обнимала его

ещё крепче, будто могла удержать.

Они начали приходить. Раньше срока. Мелкие пока, придонные, голодные тени — но они уже чуяли, что носитель подрос, что имя в нём созрело и налилось, как наливается по осени яблоко, и тянет, и просится, чтобы его сорвали.

Трещина на камне у ивы в то лето разошлась на полпальца.

Времени, поняла Несвета, прижимая к себе мальчика, оставалось меньше, чем она думала. Куда меньше.

Глава 5

Озёрный туман

Туман — он не слепит. Он, наоборот, кажется то, на что в ясную погоду глаза закрыты.

После той утопленницы у Ждана открылись глаза.

Не сразу — исподволь, как сходит короста с зажившей раны. Сперва он стал замечать тени там, где теней быть не должно: в полдень, под высоким солнцем, у иного двора лежала вторая тень, чужая, тонкая, и тянулась она не туда, куда положено, а к воде. Потом — лица. Он шёл по Заречью, и из тёмных сеней, из подполов, из колодезных срубов на него смотрели лица, которых не видел никто, кроме него: бледные, водянистые, с тем терпеливым вниманием, с каким смотрит кот на щель, где скреблась мышь. Они не пугали — они просто были. Изнанка мира, всегда лежавшая под лицевой стороной, как подкладка под кафтаном, для Ждана понемногу выворачивалась наружу.

Несвета поняла это раньше, чем он сказал.

— Двоится, — спросила она однажды за ужином, не подымая глаз от миски. — В глазах двоится? Будто за всякой вещью — другая вещь?

Ждан отложил ложку.

— Откуда знаешь?

— Знаю. — Старуха помолчала. — Это к тебе изнанка лезет, родимый. У всякого человека есть в глазу заслонка — чтоб не видеть того, чего видеть не надо, не сойти с ума. У тебя её сроду нет. Заколотили тебе её при рождении наглухо? — нет, наоборот, дверь нараспашку оставили. Вот и сквозит.

— Это плохо?

— Это цена, — сказала Несвета. И больше не объяснила. Цену он узнал сам, к концу той осени.

Дар был не даровой. За каждый раз, когда Ждан смотрел на изнанку — по-настоящему смотрел, не отводя, разбирая, что за тень и чья, — он чем-то платил. Сначала думал — устаёт. Посмотрит долго на водяное лицо в колодце, разберёт, что это давний утопленник, дед нынешнего бондаря, — и потом полдня ходит выжатый, с гудящей головой, и спит как убитый. А после заметил хуже: память стала уходить. Не вся — клочьями. Он вдруг переставал помнить, как звали его собаку, что сдохла прошлой зимой. Забывал лицо матери — Лукерья хворала, ходила к ним редко, и однажды Ждан с ужасом понял, что не может вспомнить, какие у неё глаза. Изнанка, открываясь ему, забирала взамен куски его

собственной, лицевой жизни. Будто торговалась: ты мне — взгляд, я тебе — дырку в памяти.

Он рассказал Несвете. Старуха слушала, поджав губы, и лицо у неё делалось всё темнее.

— Не смотри помногу, — сказала она наконец. — Слышишь? Углядел тень — отвернись. Не разбирай, кто да за чем. Любопытство тебя сожрёт, родимый, оно тебя раньше всякой нечисти сожрёт. Память — это кто ты есть. Растеряешь память — останется пустая лодка. А пустую лодку, — она запнулась, — всякий займёт, кому надо. Понял?

— Понял, — сказал Ждан.

Он не понял. То есть слова понял, а нутром — нет. Потому что нутро тянуло смотреть. Изнанка была страшная, но честная: там никто не притворялся, не сторонился его, не сплёвывал через плечо. Там его, наоборот, узнавали. И это — что его где-то узнают и ждут — было сладко мальчишке, которого в родной деревне обходили, как падаль.

В тот туманный день он нарушил наказ.

Туман снова лёг полосами, как тем летом, и Ждан, идучи берегом, вошёл в одну такую полосу нарочно — проверить. Внутри было тихо и бело, и плеск под ухом, и он стоял, ждал. И дождался: туман перед ним сгустился, и проступила в нём не одна тень — много. Целая толпа. Они стояли в воде, рядами, уходя в белизну, сколько хватало глаза, — мужики, бабы, дети, старики, в одеждах разных времён, иные в таких, каких Ждан и не видывал. Все мокрые. Все молчащие. Все

смотрели на него.

И все — он понял это вдруг, и от этого по спине прошёл холод, — все были на одно лицо. Не похожи — одинаковы. Будто это не разные люди, а один кто-то надел разом сотню чужих лиц и глядел из-под всех сразу.

— Кто ты? — спросил Ждан. Шёпотом. Забыв всё, чему учила Несвета.

Толпа не ответила словами. Но в голове у мальчика, в самой кости, шевельнулось — не голос, а тяжесть, медленная, придонная, как ил поднимается со дна, если ткнуть веслом:

«Я тот, кого ты держишь. А ты — тот, кто меня держит. Сними. Устал ведь держать-то. Сними — и отдохнёшь».

Ждан попятился. Нога ушла в воду, он оступился, упал на руки в холодную муть, и боль от этого — обыкновенная, живая боль ободранных ладоней — вернула его. Он вскочил, вырвался из полосы тумана на чистое, и бежал до самой избу, не оглядываясь, и в груди колотилось так, что больно.

А когда добежал — не вспомнил зачем.

Стоял у порога, мокрый, в крови, с колотящимся сердцем, и не мог взять в толк, отчего он бежал и что было там, в тумане. Помнил белое. Помнил тяжесть в голове. А что сказала тяжесть — выело начисто, как языком слизало.

Несвета выскочила, втащила его в избу, ощупала, отпоила. Допытывалась — он не мог рассказать, потому что не помнил. И только когда старуха, уже за полночь, достала из укладки свой холщовый мешочек и вынула камень, чтобы по

нему проверить, как далеко зашло, — Ждан, глянув на Алатырь, вдруг сказал, сам не зная откуда:

— Сними. Устал ведь.

И осёкся. И посмотрел на старуху испуганно — потому что это были не его слова. Он их не думал. Они сами вышли, чужие, через его рот, как вода через прорванную плотину.

Несвета побелела. Зажала камень в кулаке. И впервые за восемь лет Ждан увидел на её лице не строгость, не заботу, а голый, неприкрытый страх.

— Оно с тобой говорит, — сказала она тихо. — Уже говорит. Через тебя.

Она схватила его за плечи, встряхнула, заглянула в чёрные глаза — туда, где на самом дне горел тот неугасимый огонёк.

— Слушай меня. Завтра пойдём к камню. К ивовому. Покажу тебе всё, родимый. Хватит прятать — поздно прятать. Будешь знать, что несёшь. Может, хоть знание удержит тебя там, где любовь моя уже не держит.

Озеро за стеной в ту ночь не шумело. Оно молчало — довольное, как молчит тот, кто наконец сказал нужное слово нужному уху и теперь ждёт, когда оно прорастёт.

Глава 6

Худой год

Худой год не спрашивает, кто виноват. Худой год сам назначит виноватого — был бы под рукой.

Тот год в Заречье запомнили надолго. Звали его потом —

Жданов год, и звали не к добру.

Началось с рыбы. По весне сети стали выходить пустые — не то чтобы вовсе без улова, а с гнильцой: вытащат, а в мотне снулая плотва, мягкая, вонючая, с белёсыми бельмами на глазах, будто месяц как сдохла, хоть час назад играла. Рыбаки крестились, выбрасывали, забрасывали снова — и снова тащили тухлятину. Озеро, кормившее Заречье испокон, словно прокисло изнутри.

Потом пал скот. Не весь — а как-то выборочно, со смыслом, отчего было ещё страшнее: у одного двора корова падёт, а у соседнего стоит как ни в чём. Падали тихо: вечером здоровая, утром лежит, остывшая, и из открытых глаз течёт тёмное, не похожее на слёзы.

А к Купале занемогли дети.

Хворь была чудная. Ребёнок делался вял, сонлив, переставал играть, садился у воды и сидел, глядя на озеро, часами, и не дозваться. Спрашивали — отвечал невпопад, тихо, будто прислушивался к чему-то под водой. Двое к осени так и ушли — не от жара, не от живота, а просто заснули и не проснулись, с улыбкой, повёрнутые лицом к озеру. Их схоронили на горке, подальше от берега, и батюшка из Ростова — новый, молодой, Прокопий-то уж помер — отслужил наспех и уехал, и видно было, что и ему здесь не по себе.

И Заречье, как всякая деревня в худой год, стало искать виноватого.

Долго искать не пришлось. Виноватый жил на отшибе, в

бабкиной избе, ходил один, ни с кем не водился и глядел чёрными глазами в землю. Озёрный. Меченый. Тот, кого восемь лет назад не дали утопить.

— Я ж говорил, — сказал Гаврила-кузнец. Постарел кузнец, обрюзг, схоронил в тот год внука — одного из тех, что заснули. — Я ж тогда говорил: верните озеру озёрное. Не послушали старую ведьму. Вот и жрёт нас теперь — по дятти, по корове. А он сидит, выкормыш, целёхонек. На нём ни хвори, ни горя.

Это была правда, и оттого она жгла. Ждан и впрямь не болел. Среди мора, среди дохлой рыбы и спящих детей он один ходил здоровый — бледный, тихий, но здоровый, — и это в глазах Заречья было не милостью, а уликой.

К Несвете пришли о Спасе. Пришли толпой, как тогда, восемь лет назад, — только теперь без верёвки, а с топорами и вилами, и впереди не кузнец даже, а бабы, осиротевшие матери, и бабья эта ярость была пострашнее мужичьей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.